



Загородний Анатолий Яковлевич родился в 1947 году в поселке Алга Актюбинской области. Долгое время работал редактором, заведующим редакцией русской литературы в издательстве художественной литературы «Писатель» (Алма-Ата), затем в литературном журнале «Простор» редактором по прозе. Автор семи книг прозы и ряда произведений, которые печатались во многих журналах и литературных изданиях. Лауреат нескольких всероссийских литературных премий, в т.ч. премии имени Бунина. Член Союза писателей России. Прозаик, публицист, литературный критик. Живёт в Орле.

ВОССТАНИЕ ИДОЛОВ¹ **(ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ)**

ДЕМОНСТРАЦИЯ ТРУДЯЩИХСЯ СТАТУЙ

Долго ли коротко...

И настал день.

Портьера дрогнула... Поколебавшись, занавес пополз вширь и, задержавшись, взвился вверх, публика ахнула: такого, от искусства достиг граф, столь хитроумным и совершенным способом явил мировое пространство.

Веня не успел глазом моргнуть.

В мгновение ока статуи сместились (перетекли) на сцену. В волшебную призму. За непостижимую грань... Как если б поворотом невидимой механизмы провернулись и съехали.

Веня протёр один и другой глаз.

Фигуры пропали, — надо полагать на время, — словно бы потерялись, растворились в открывшейся глазу гисторической ретроспекции, — и право же, не до них было.

Пространство разом расширилось и углубилось, явив собой бесконечную голубую перспективу.

Как если бы Веня хватил избытка воздуха. Попал вот так вот запросто из грязей да в князи. Презент не презент, но точно как если

б енто король вступил в Версальскую резиденцию, там, в получасе езды от Парижа (и туда, и туда Веня тоже заглядывал), вошёл в великолепном королевском облачении в ту самую знаменитую смутно-туманную галерею в правом крыле дворца с её нескончаемой восхитительной далью, многожды, много преувеличенной зеркальной оптикой. Там, под Парижем, изрядно, здесь же в Орле неисчислимо — преувеличенной. До мирового, господ, масштаба, прямо скажем, планетарного. Такая у графа случилась оптика.

Открывшийся глаз потрясенного Вени сад простирался много дальше Орла, до Москвы, если прямо, до Парижа, ежли налево, и через Океан до Вашингтона и Нью-Йорка; направо ж и вниз — до Пекина и Токио, и не вообразить куда далее. Ей-ей! Вниз — до Антарктиды, вверх — до Северного полюса. Куда ж, господ, ещё далее?.. Некуда!..

Прям от просцениума по гравию, присыпанному жёлтым песочком, катился (на глазах у Вени, в последний момент только успели с ним оформители), бежал персидский ковёр, разворачиваясь цветами и ложась

¹ Начало см. в альманахах «Орёл литературный» за 2021-2022 гг., вып. 17-18.

прямо у ног геральдического, так сказать (как стало ясно позднее) сооружения — трибуны в виде миниатюрной коринфской колонны с усеченным поперек нею портиком и возлежащим на нём диковинным предметом под увеличительным, опять же, и, насколько можно было понять, до чрезвычайности мощным стеклом, яко же под лупой. Ибо, когда бы не так, не столь мощным было бы стекло, блоха была бы невидима. Под стеклом же вне сомнений, была блоха. И до обмирания видима. Насток, что зрители вполне могли рассмотреть не ток коготки и шпорцы на ейных упругих мохнатых ножках, но даже волосики, и даже могли сосчитать их. И как она, будучи исправлена Левшой и дарена мастером новому монументальному управлению на его нужды, поворачивалась и совершала под колпаком (будучи заведена ключиком и под двумя прожекторами) умопомрачительное такое танце, подсказывая и, правда, прихрамывая на одну ножку, ту, которая была с факсимиле Левши, с им выбитой на подковке самоличной и утончённейшей росписью.

— От, выбрали блоху царицей бала! — шепнул Граф Вене. — То есть по рекомендации мастера. Как самую видную и знаменитую особу! Как реликвию! Можно сказать, как символ нового монументального правления! Такого, от, при котором и блохе есть место на постаменте. И даже за трибуной! Сим как бы подчёркивается всеобщее равенство!

Блоха танцевала по одну сторону установленного на трибуне микрофона, спрятанного в букетике из цветочков. По другую лежал уплощённый гранитный камень, весьма такого велеречивого вида, с вензелями и как бы с золотым обрезом, в общем-то непонятного назначения. Но, конечно, определено, что связанного с блохой. Постольку, поскольку лежал по другую сторону от насекомого. Может, сей велеречивый артефакт олицетворял рукопись Николая Семёновича Лескова, как бы отлитую в граните, означал собственно статут сочинителя (то есть как производителя таких литературных героев, для которых навсегда уготован в Отечестве постамент и первые роли в табели о рангах).

Конечно, рассудил Веня, у автора приоритет, так сказать, на церемониях, прежде всего, наивысшего свойства, таких, как парады и балы, и даже, может, пожизненное право на первый танец с блохой, как явившейся из головы самого шелкопёра.

Веня поделился с графом своим размышлением.

— Нет, — отвечал граф. — Танцевать ты будешь, Веня. Как презент. За тобой первый танец, Веня! Ты будешь открывать бал! Вместе с блохой! Положение обязывает! В граните же, там внутри в письменах — наши тезисы относительно нового монументального правления и как будем жить. То есть в соответствии с тем, что, как мы полагаем, первые роли в архитектурной иерархии без сомнений перейдут к статуям и литературным героям.

И граф подтолкнул Веню в направлении кафедры, лёгким таким подзатыльником, может, затрещиной.

— Иди клясться перед нами, Веня! Следует придать законность твоему правлению, лично тебе, Веня, как первому лицу среди статуй.

Веня немножко заартачился.

Даже прямо заявил (взял на себя такую, от, смелость), что отказывается. Потом сказал, что боязно ему, Вене, идти выступать. Столько народу. И столь представительные лица.

— Диот! Эт ж всё понарошку! Эт ж тиятр, Веня! И вообще, только репетиция. Ну, может, генеральный прогон. С приглашением первых лиц города. Даже мэра, даже самого губернатора. Он они, — показал граф пальцем куда-то неопределённо, — там, на верхах сидят, со своими тёлками. Нет, нет, не туда смотришь, Веня, эт первый ряд, они ж в ложах, напомаженные, вместе с господами московскими, сами зазвали господ, — пояснил граф, — для выпёндрёжа, как ж, только подумать, Веня!.. Первый в России тиятр! Монументальный. И не где-т... В Орле, Веня! На глазах, считай, у московской публики открывается. Шуму будет!

Врал граф Вене. На самом деле это не был прогон. Это была всамделишная инаугурация. Просто граф не говорил Вене. Чтобы не трусился Веня. А то возьмёт и сбежит Веня. Только инаугурация устроенная так, как спектакль (в полном, кстати говоря, соответствии и согласии с учением графа). Вроде такой спектакль даётся статуями. Ну и раз с демонстрацией, с парадом, приёмом и даже балом. Как оно водится.

И если на самом деле, то никого из правительств не было, ни из Московского, ни из губернского. Потому что ещё не время было, так чтобы совсем засвечиваться. Да. Всё было на самом деле. Посвящение в презенты, прочее. Но представлялось, для зрителей то есть (да и для самих участников во многом), и в самом деле, как спектакль завлекательный. Чтобы снять любые предубеждения. Чтобы никаких подозрений. Что уже готово к само-стоянию статуиное сообщество. Для освещения спектакля, якобы (спектакль его можно освещать), были разосланы приглашения радиову и телевидению, также газетчикам.

Правда, что же, надо сказать, были, были фигуры и из правительств, были. Много фигур было, больше того, из многих правительств, от многих государств, но только если они из статуй. В том числе и от живых персон, если живые уже имели статуи. Всё это по ходу как-нибудь и даж всенепременно прояснится и, соответственно, покажется. Не только это, но и другое многое. Своим чередом. Многое выявится. Но и вправду: не всё же и сразу. Терпение, господи.

Была одна во всём этом, одна заковыка. Одна, но существенная. Как быть и что делать с парадом. То есть с военным.

Бал... Его можно давать в одно время с демонстрацией. Как бы там и чего бы там ни было. Да он, если по факту, уже шёл. В саду то есть. Бал не может мешать шествию демонстрантов по улице. Демонстранты ж учинять препоны балу. Приём... Его можно всегда устроить. Но парад... Он требует точности, соблюдения многих составляю-

щих. Это такая механизма, которая как часы работает.

Между тем ни граф, ни сам Веня, и никто не мог назвать не то что минуты или часу, с которого параду начинаться, но даже дня, и, может быть, месяца, то есть так, чтобы сразу вслед (мы не шутим) за демонстрацией. Такое создалось невероятное и по существу безвыходное положение. Такая ситуация. Исключительная. Невероятная. И однако же имеющая быть место.

Тут ещё кое что к сказанному уже следует дополнительно присовокупить, чтоб разъяснить эту самую уникальную ситуацию, также некоторые прочие.

Дело-то вообще уже шло к ночи. Поздно, чё ни чё, приступили к инаугурации. Неясно вообще было, то есть для самого Вени, хотя для других как-то и понятно, понятно, что оно да как, но, повторяем, не для самого Вени. Не мог взять в голову Веня, когда, хм, где и каким образом проходили выборы, то есть самого Вени, как презента. И вообще проходили ли и состоялись ли... Но вот чувствуют. Значит, состоялись. Прост запомывал Веня. Когда и где выбирали. Как ж. Оно конечно. Полные штаны счастья. Ясно, всё из головы вылетело. Ладно.

Предполагалось, что тут ж за коронованием Вениным, тут ж и быть демонстрации. То есть, чтоб сразу, чтоб сразу страна увидела, как народ радуется. Как он радуется не нарадовается восхождению Вениному. На престол, значит. Но, вишь, поскольку спектакля, постольку на вечер назначили коронацию.

Спрашивается, когда ж в сам деле проходить демонстрации? Ночью что ли. Если сразу ей быть, тотчас за венчанием Вениным, за вступлением ево в должность. Или торжества они до утра затянутся? То есть сам ритуал Вениного восшествия? Так долго продлится. С вечера и до утра. И утром уже начнётся демонстрация.

Ладно. Графу ему виднее. Всё ж таки непривычное мероприятие. Вишь, в саду проходит. На воздухе. Рядом улица. Слева ея

своя трибуна. Перед нею по улице и пойдёт демонстрация. Хм. да.

Нет, нет. Сколько ж и в самом деле может занять времени шествие? Когда в сам деле начаться параду? Оно конечно так всё ясно. Сразу за демонстрацией. Но когда, когда её можно будет считать оконченной???

Вот где и в чём была препона и заковыка.

То есть.

Вообще, не может ли так случиться, что ходячая демонстрация трудящихся статуй никогда не закончится? Но всё будет идти, идти и идти. С утра и до ночи. С ночи и до утра. Подобно тому, как движется солнце. Только что без прерываний и делений на время суточного ходу. Видимого или невидимого.

То есть, пора уж прямо сказать, вопрос упирался в сроки, которые могут быть отпущены для демонстрации. Нельзя же в сам деле как-т ограничивать волеизъявление народа, не давать ему возможности выразить свою признательность презенту и правительству. То есть какими то временными рамками прохождения перед глазами презента и правительства. С другой стороны... Эного народу по факту (то есть) было так много, что явление его перед глаза правительства и презента, перед глаза даже всех презентов и правительств мира, могло никогда не окончиться, по факту то есть. Впрямь, никак не было известно, сколько прибудет статуй, сколько литературных героев, как много. Может, и впрямь бессчетно. И, значит, не могло быть известно, как долго им идти. В самом деле, а как дня не хватит? Чем чёрт не шутит. Может, неделю будут идти, месяц, а то и году для прохождения не достанет. А?

Приглашения, вишь, передавались сарафанным радио. И что статуям, что героям, то есть из ближнего ряда, с указанием каждой персоне пригласить не менее до трёх персон из последующего ряда, то есть рядом же или недалеко стоящих, из лично им известных и близких, тем же соответственно каждой из каждой новой тройки еще по тройке фигур отдать приглашения, как б по эстафете, в свою очередь И так в общем и в принци-

пе до бесконечности. С расширением круга приглашенных до неохватности. С увеличением и возрастанием числа демонстрантов в геометрической прогрессии, до планетарного уже масштабу. Это ж бог знает, сколько может получиться. Тем более, что имелись в виду в связи с подсказкою протопопы Губерозова, не только и уже, может быть, даже не столько статуи, сколько прочие разные герои. Из тех же книг. У них же только в каждой публичной библиотеке и не сосчитать по сколько знакомых и близких всяких разных персонажей. А частные библиотеки. В том числе не прямые герои книжиц, а двойники, фигурирующие в разного рода аллюзиях. И это ещё ладно. Венимин Иванович в связи с прочитанной статуям лекцией (да, прочёл) «О всех обездолённых и закланых» потребовал дать приглашение всем униженным, всем обездолённым и закланым, всем мёртвым. Потому что прежде всего именно они достойные. Как Авель. Как первомученик Стефан, побитый язычниками камнями. Как те ж младенцы, схваченные и умерщвлённые царём Иродом. Как все невинные. Все загубленные. В ту же, скажем, Гражданскую... За все времена. Что вширь, что вглубь. До времени оного. Все достойны были быть прохождения и показания перед глаза презента и правительства, даже перед глаза всех презентов и управлений мира, все мёртвые подданные и всех государств мира.

Как, я уж и не знаю, каким способом и методом, давались приглашения. Но факт, что давались. И факт, что на них откликались. Это показала собственно демонстрация. Это проявилось собственно на демонстрации. (Там, дальше покажется).

Гости, то есть почётные, с ними было всё же проще. Даже если и несколько сотен, все наперечёт. Как бы там ни было.

Мы о них также ещё дополнительно, о самых высоких, безусловно расскажем, опять же, в свой черед, как только они рассядутся по креслам на гостевых трибунах, чтобы смотреть парад. Самые высокие с прибытием подгадывают как раз к параду. И обыч-

но и смотрят один парад. Поскольку самая завлекательная часть. Демонстрация эт как б внутреннее дело. Парад же... Чё ни чё. Где как. В иных государствах вообще из себя ничё не представляет. В России ж, у нас, может быть, как раз и именно в Орле, есть заглавная часть... И от этой части, нужно прямо сказать, если сами мы в иные мгновения обалдеваем, столь могущественная у нас техника, то представители с других государств трепещут. С того и едут к нам на парад. Даж вороги. За обязанность считают. Потрепетать. Но это мы в шутку. Словом, парад эт международное дело.

К Вениамину Ивановичу, вообще к Лесковскому ансамблю с учрежденным им управлением, должно заметить, чё ни чё, съезжались исключительно дружественные представители и братские делегации. Даж если из враждебных государств. Поскольку статуи. Поскольку герои. По определению сродственные натуры. Такие пряники.

В общем и с этим с парадом, со всем, что было и чего не было, всё было отдано на откуп графу. Графу виднее. У Вени ж и так голова раскалывалась. Тело не повиновалось. От восторгу и страху.

В общем.

Веня, что бы там ни было, нехорошо уже как-то трясся.

Косился на полицейских, тож были приглашены, мало ли что...

Несколько на отлёте стояла скорая помощь с реанимацией.

Ноги у Вени сами собой подкашивались.

— Ааа! — догадался вдруг граф. — Думаешь, схватят! Што я обманываю тя! Будто статуи втихаря, втихомолку, без соблюдения формальностей и законов, а так избрали тя... Потерпи, Веня! Немножко... Немножко ещё. Не бойся, Веня! Щас утвердят. Щас возведут тя, Веня, на царство! Блохой увенчают! — глумился граф. Но виду, что он глумится, не подавал. — Времени, вправду, — глаголет, — мало осталось. И: — Время

близко! — издевался граф.

А щас, мол, быстро, быстро, топай на поглядение народу, статуям то есть.

И граф дал Вене вторую затрещину.

Дал и повторил, на всякий случай, вбивая в мозги Вене:

— Не трясись, Веня! Эт всё, говорю ж, ток декорация!

С бьющимся сердцем тем не менее вступал на ковёр Веня.

Но чем далее подвигался, тем увереннее.

И так держал себя (быстро, значитца, привыкал к роли), таким взором смотрел, что один из гвардейцев, из тех, которые стояли повдоль ковра, самый юный из них от страха упал, зараз — с винтовкой, даж прободал штыком пол.

Будущие советники и министры из управленческого кабинету Вениного (а граф сказал, что Веня будет совмещать презентство с председательством в кабинете министров, также с секретарством в партии статуй), высшие чины ахнули.

И, подумавши, тож попадали.

Так Веня царственно шёл.

Некоторые, ай-я-яй, попадали к Вене... задрами! Так стояли, от, к Вене, вытянув шеи. Как-т навыверт. Ну и, падая, довертелись.

Вообще ж, дело в том, что от чрезвычайно-го нутренного любопытства Веня с каким-то бешенством сам крутил головою, рассматривая графские проекции.

Ну и потому... как куда Веня смотрел, так там и падали.

Так пылал лик Венин.

Так огнен и страшен был его взор!

Хоть и с перепугу!

Какая разница?!

Таким, от, всепобедительным был Венин восторг!

Такой сокрушительной Венина радость.

Таким, от, могущественным был страх у Вени.

Что бы потом ни говорили!

А было, было чему восторгаться!

Пра. Как ж и не восторгаться!

Как не дивиться морю транспарантов, орловских штандартов, икон на древках, хоругвей, флагов и знамён, вперемежку — царских, советских, православных, казачьих, дворянских, с гербами, крестами, звёздами и орденами на полотнищах, над головами, поперёд голов и даже за спинами у статуй и литературных фигур. Иные же из реквизитов были отдельно приставлены там и сям к раскинувшейся на два крыла крытой греческой галерее с колоннадой, перед которой и помещались зрители, то есть поперёд её прямо перед ней и с боков (галерея была под антик, граф спёр идею у заезжего архитектора). Грандиозные такие, кованые, увитые розами из железа, врата (не меньше, чем на пять карет кряду, верно, для проезда президентской гвардии, конной) — красовались по самой что ни на есть серёдке умопомрачительного сего сооружения.

Тож, Веня прям устрасился призывам, сток радикальным, намалёванным с заду трибун (и по бокам) на всяких растяжках, а один призыв на уборной (биотуалете, для первых лиц, спрятанном в кустах). Призывы превозносили самого Веню, подымали на невероятную высоту как фигуру, ну, государственную.

Тут надо и ещё вот о чём сказать. Да.

Гости... Они толклись на всём пространстве перед восхитительным, уже описанным нами выше, архитектурным сооружением. Стояли стоймя, там сям, тут там, по бочочкам и по закраинам, так много их было. Яблоку негде было упасть.

Некоторые, правда, располагались сидючи.

Иные из фигур в таком положении, что верхом.

Что даж скакали сидя...

То есть постольку, поскольку с лошадьми прибыли, то есть, как я уж сказал, верхом. На лошадях располагались. Может, привычка сказывалась: скача стоять, стоя сидеть Ну, по площадям и скверам... Как и сказать не знаю. Может, чего-то другое. Иные, как влиятые, сидели (что на лошадях, что на скамей-

ках). Иные как б летели, привстав на стременах (эт, которые сугубо на лошадях). Иван Сергеевич Тургенев тот прост на телеге располагался, на передке телеги. Вернулся к тому состоянию, при котором изначально прибыл к площади. С бантом на шее воплощался. Кляча ж ево перед ним спереди промежду оглоблей уже издыхала, только что не падала (похоже, всё же загнал).

Между нами, в телеге у Тургенева лежали три бюста, самого Ивана Сергеевича, строго, строго между нами, прикрытые дерюгой. Самоходом, без соизволения самого статуя прибыли. Разве можно-с? И, верно, невдобно было как-то Ивану Сергеевичу, что так выпячивается, бюстами-то. С того, должно быть, и спрятал бюсты, прикрыл мешковиной, подальше от почитателей, может, чтоб не было сглазу. Однако ж они высывались. Право имели. Зря что ли прибыли. И тогда Иван Сергеевич щёлкал их по носу, незаметно так. Гм.

Один был с железнодорожного вокзалу, бюст-то, из сквера, слева вокзала стоял промеж жёлтых топинамбуров (американской картошки). Другой — с Дворянского гнезда над Орликом, с клумбы удрал (клумба с прелестными маргаритками). Третий энтот утёк прям из музея Тургенева, со стола, с под фikusов, благо рядом, каких-то сто пятьдесят метров музей, то есть выше моста его же тургеневского имени и по его же имени улице. Такое, от, тургеневское засилье.

Николай Семёнович тот восседал. На диване.

Несколько развалясь. Понятно, как дома себя чувствовал. Поскольку — старанием графа — с диваном прям въехал в сад, чуть лишь разошедшись с собственным местом.

Александр Сергеевич... Пушкин.

Настолько юный, что ещё молоко на губах не обсохло, настолько кудрявый, будто после бигудей. Кудри как виноград чёрный. Саша он — возлежал... Да, на бочочке, в травке, как на пленэре (из Михайловского прибыл, только там такой памятник, самоходом, соизволил, такое, от, пространство одолел). И, значитца, локоток на книжке, сам на

Катерину Львовну смотрит, обернувшись к ней, неотрывно смотрит. Правда, с некоторой задумчивостью, не может отвести взора от каторжанки, никак, от её смертных, как у олеандра, всяких разных смутно-розовых откровенностей. (Как бы непотребств. Правда, неподобающе, больше того скажем, прям-таки убийственно прекрасных). Балахон, ить, Катерины Львовны, которым она прикрывалась, он с торгов на партийные нужды пошёл. Для вспомоществования партии. Сама ж на цоколе как-то, от, так, что даж — невообразимо, ну, голой, — так стояла, такое, от, впечатление невообразимое производила. Как тут не заглядеться!

Другой... Пушкин. Который прилетел от Польского корпуса университета, самочинно, не испросившись у юного, хотя, конечно, конечно, был постарше, чего ж тут спрашиваться... Словом, энтот, который неделю раньше для неё шиповник в сквере срывал, носясь между шиповников, энтот — бюстом-то — с невероятною ловкостью бил ей поклон. И далее целовал ножку Катерине Львовне. Катерина Львовна смеялась. «Ой, щикотно!» — говорила.

Веня, идучи по ковру, скосив на сторону взгляд, тут ж приревновал её. Диот, разве можно ревновать к Пушкину!

Бунин же, Иван Алексеевич, который прибыл от Вениного дома (на Почтовом), с Пролетарской горы, да, Иван Алексеевич — стоял. Несколько щеголевато, правда, со скрещёнными на груди руками, с некоторою желчью во взоре смотрел на очередное русское сумасбродство. Верно, понятия ещё о нём не имел. Насколько оно правильное, мало что грандиозное.

Тож. Не перескажешь про фигуру каждую. Были, которые стояли с пушками.

Одна (пушка то есть) даж с развороченным лафетом, из дула дымок вился, как если б только был произведен выстрел. Красноармеец из-за лафета смотрел вдаль. Другой подтаскивал ящик с бронебойными. Ещё один (красноармеец) посылал снаряд в створ. Веня даж немножко присел, то есть перед новым выстрелом. Чего там, господа,

трухнул. С такой выразительностью была исполнена композиция. С Наугорского шоссе прибыла, с самой окраины города, перед поворотом на кладбище Наугорское представлялась.

Одна — труженица — стояла со снопом пшеницы (так Веня мне передавал), подъятым над собой на руках, возвышаясь над артиллеристами, очень высокой была, шестнадцати метров росту. Веня сразу узнал её, хотя и не был лично знаком, с живой, но, случалось, что Веня разговаривал с каменной, то есть со статуей, и даж нередко (но опять ж) — про себя разговаривал. Вслух Веня стеснялся, так хороша была, так молодая, с комсомольским значком на груди, с развевающейся над головою косынкой.

Да, да, та самая «Каховка»... Верно, как-то и с чего то связанная с Катериной Львовной, с её политической ориентацией и позицией. Имеющая влияние на Катерину Львовну (смотрите в главе «Романтические мечтания»). И такая же красивая.

«Тож пришла! — взволновался между тем, опять же, идучи по ковру, Веня. И чисто художественно так, от, подумал (не раз же встречался): — Дотянуться б, — подумал. — до ея, сорвать с ея, с юной, поцелуй!» — ну и, как оно водится, втопиться.

Жаль, жаль, конечно, что Веня был такой маленький. Что не мог дотянуться. Но и потому, слава богу, не мог втопиться.

Да, кстати. Простим Веню... Веня немножко путал. Я относительно снопа с пшеницей над головой у «Каховки». Веня как-то рисовал комсомолку при заказе сверху её портрета. Верно, подслеповат был Веня, уже смолоду, подслеповат, несмотря на всю свою художественную зоркость. С автоматом (не со снопом) над головою стояла «Каховка». С автоматом же шла от Тургеневского моста. В буденовке со звездой. И над шлемом её развевалось не красное (как рисовал Веня), чёрное знамя (если честно, господа, особ, когда тучки набегали). Чего-то с глазами в молодости было у Вени. Ладно, чёрная, красная. Но прибыла, точно, до Вени. Из-за моста.

Самоходом заявила. Только что же... Пришла и застыла. И ноль внимания на Веню. Как если б не шла. И не приходила.

И вот, пока вышагивал по ковру Веня, сильно одна мысль занимала и прямо точила Веню.

Как же гражданка шла... И вообще все граждане. Как они двигались. Каким образом прибывали на праздник. Раскрепощались же как-то... Переставляли ноги. И те у них гнулись.

А от, значит, пришли и застыли, как были... То есть в большинстве своём.

Пришли и стоят, как стояли.

Будто допрежь и не двигались.

Даже не показывают виду, что у них что-то там и где-то перемещается, вообще в отношении жизни.

Вишь, какая привычка всё к одной и той же позе.

Как излюбленны ими их позиции.

Как единственно для них возможные...

От что значит искусство!

Да. Во-вторых.

Глаз не умел оторвать Веня от голых (тож, как Катерина Львовна), хотя и алебастровых, баб. Ну да, там, под фонтанами, разбитыми слева и справа от галереи. Баб, настолько белых, что белее коры берёз. При этом с чёрными же отметинами как у берёз. В нужных местах (ниже пупков, скажем, да чё там — промежду ног), точней, с таким подкладом из крепа, нет, пожалуй, помягче — вельветовым. Если говорить с абсолютной точностью — муаровым, столь воздушным, у иных паутинным, можно запутаться. (Граф, заметим, он терпеть не мог баб без волосьев. Аркадия Ильича и того не допускал к этим местам с ево бритвой, когда тот готовил их к представлениям. Потому и нимфы у него с волосьями были).

Нимфы красовались под фонтанами по окружьям чаш, принимая водяные ванны. Стояли, окутанные с головы и до пят водяною пылью. Каждая при своей, выбранной ею, позе. Как в бане. Будто под паром. Раз-

горяченные, влажные, в пене. С ума сойти. Радужная пыль сыпалась нимфам на кудри, серебрила рамена, упала на перси, как б цветами. Цветками ж и торчали перси. Одной нимфе вода была в подмышки, смородиновые, той, которая держала руки кверху с расставленным локоточками, тянулась к затылку, чтобы поправить причёску. Подмышки ж выставляла. И всем без исключения сыпало — в пах. Роса, заметим, с особым форсом блистала в этих самых притенённых местах, привлекая всеобщее внимание. Похоже было на то, как если бы граф в своём тياتре пользовался живыми изваяниями. Скульптуры не могли б так к себе тянуть, настоль, от, упадочнически... Веня замедлял шаг, едва удерживаясь, чтобы завовсе не отвлечься на нимф, не броситься к их ногам, не припасть до колен нимф, не обнять их скопом и всех сразу. Чтобы без всякой очереди. Чтобы не пропустить какую... Такая ненасытность проснулась в презенте, в Вениамине Ивановиче то есть. Главное ж, при инаугурации. Такой ещё молодой презент! Такой охочий. В целом же, конечно, с кем оно не бывает. Слишком много баб в России красивых оченно.

«Живых, ить, дьявол, поставил! — подумалось ещё Вене о графе и, понятно, о бабах. — Где только таковых и взял! Должно быть, смотр допрежь устраивал! Дефиле красавиц! Вообще же, оно конечно, в России все бабы красавицы!»

Сад, правда, бушевал белым весенним цветом. Так бывает, разметавшись в постелях и раскрывшись во сне, бушует, только собственным цветом, баба. Ну что тут поделаешь. Так вот опять подумалось Вене. Когда б был простой человек Веня, мы б не записывали мыслей Вениных. Не граф Толстой, чтобы ходить за им и записывать. Гм. Может, и не Толстой. Но презент. За минуту до момента вступления в должность. Для человека крайне важно тут любое движение, любая выскочившая из исторической личности мысль, даж самая воинственная, и не только вслух выраженная, но и нутренняя.

В качестве назидания, в порядке наставления. Для потомков и вообще истории. Тут ничего нельзя пропустить. С того мы и не пропускаем.

Весь сад был как снег. Так запорошен. Майским (и не только, как выяснится позже) цветом. Но как б безсезонным. С роспуском цвета во все времена года. Со всех концов света навёз граф для сада цветов. С того, значит, как б в снегу, в такой, от, неге лежал, в сладостной. Чуть розовый... Эт от цицек (решил Вениамин Иванович, уже как презент)... Ну, што розовый... (На всякий случай, для молодых, для тех, которые не знают языка русского во всей его полноте, значит: цицки эт, как объяснил мне Веня, эт такие бутоны, прелести розовые, которые у баб на грудях торчат, не знаешь, что с ими делать и как с ими быть. А так, конечно, Веня всё знал, тем более как (без пяти минут) презент, что и с кем делать. Но и увы, самой сложной науки ещё не познал). Нет, нет, ну чисто баба, вся истомлённая, такая, от, черёмуховая, черёмухово-розовая, вся как сад (сбивался Веня на любимый свой предмет). Такой, от, страшный в цвету магнит. Гм... Да. Сад же он, в свой черёд, понятно, как баба. Такой от, цветоносный круговорот. Таким от в Вене цветоносным кругом неслись, разворачивались и распускались, ну чисто цветы, Венины, без пяти минут презентские мысли.

Некоторые прибавления. Для разнообразия. Для полноты картины.

Уже. Уже синий молодой месяц, набравший такую силу, что сильнее нет, взойдя над окрестностью, бил сверху прямо и навывлет сквозь листья и ветки в цвет, делая сад, вообще землю — таинственной. Правда, граненною и словно шипучей колоннадой сверху бил. Дымясь, свет падал и лился на сад (косо-стоймя), как рафинад, прошивая его насквозь, — не доставало только звучания собственно садового оркестра с дудками из цельного воздуха заместо звонких медных

труб. Где-то уже, впрочем, слышно было, настраивалась духовая оркестра. И словно звучал сад.

Светлый.

Не только от света месяца, но и от силы свеч, господа, потрескивающих в канделябрах. Да. Не одна тысяча штук, до десятка тысяч свеч горели там и сям, что по углам, что в гущах сада, как при царице Елизавете Петровне во время лукулловых её парадов, ужинов и обедов.

Изножием для светильников служили природные камни у заводей и прудиков, с выглядывающим из глубины их голубым месцем, с плавающими на воде кувшинками, с неясными под водой тенями; другие (свечи) горели в золотых корзинах, подвешенные на цветущих кустах, иногда покачиваясь, — гуляющие задевали головами; третьи, колеблемые лёгкими дуновениями, пылали с начищенных медных треножников, добавляя сияния саду и приглушая блеск месяца.

Треножники же для огней в виде пирамид были воздвигнуты и вдоль искрящихся лунным светом дорожек с кустами жасминов по сторонам. Случались кусты с целыми сводами из белых цветов. Повдоль всех дорожек. И как бы одной чередою своей всё норовили увести пары куда-то вглубь сада, в потаенную мглу, к спрятанным между развесистых ив беседкам, к неприметным романтическим лавочкам и скамейкам со спинками. Рядом же амуры. У амуров луки и стрелы.

Освещение имело место быть также у бочаг и канавок при переходах через оные по мосткам, перекинутых через ручейки и ямы. Мостки были непременно с перильцами, иногда даж с арочками. Там здесь пары статуев, иногда вперемежку с бюстами, то есть бюста со статуей, но непременно парами (дама с кавалером), равно из литературных фигур, стояли по мосткам, облакачиваясь на перильца, и, глядя на воду, разговаривали.

Иногда слышался придушенный смех. Случалось, отчётливые вздыхания.

От бочаг тянуло сыростью, холодом, мятой. И тогда статуи, которые из дам, немножко кутались в шали. Другие, напротив,

иногда совсем раскрывались, это когда от рассыпчатых кочек у ям повеивало чередою и чабрецом с набранным ими за день теплом.

Тож светильники висели на столбах арок и арочек при чайных домиках и двориках для угощений, при танцевальных лужайках с невянущей травкою, мятликом и овсяницей и меленькими цветочками — куколью и незабудками, маками на тонких ножках и ветренными лютиками. Некоторые из дам сбрасывали туфельки и гуляли по траве босиком. А то плюхались задницами в мятлик. И даж раскидывались на травке, навзничь, подкладывая руки под затылок и устремляя взоры куда-то вверх и вдаль, должно быть, к трибуне с портиком и на портике сочинением г-на Лескова в камне справа от микрофона, и слева блохой под увеличительным стеклом, к которым как раз и шёл Веня... Совсем уже был рядом.

Розовый чад и жар от свеч и цветов стоял в воздухе, смешиваясь с ароматом завезённых графом в Орёл диковинных растений, о которых мы уже упоминали, но слишком бегло, — олеандров, магнолий и даж фикусов (тех же фиг, граф выписывал их из Крыма, имел переписку с Воронцовским и Ливадийским дворцами и ботаническими садами, Никитским и Гурзуфским, растения содержал в кадучечках с железными обручами, здесь же выставлял в изящных облитых глазурью кашпо).

КуриТЕЛЬНЫЕ смеси, как нюхательные, так и самородного табаку от царевых ещё запасов (сам канцлер употреблял, не помню, какой, то есть из прибывших, ну и граф, граф Каменский, да, покуривал, потом, тайные и статские советники, как же, встречались на балу и такие), энти благородные смеси мешались с ароматом гаванских сигар с Кубы (из штанов советской номенклатуры, тож явившейся на бал, мы уже говорили) и с Венечкиным отменнейшим самосади́ком, с его духом, с дымом тонюсеньких пахитосок литературных дам из разных художественных салонов, тож, ещё советских времён. Энти дамочки (давно усопшие, героини советских

романов, давно умершие) как лошади курили. Дули прям в лица генералам дымом. И те кашляли. Энто несмотря на тонкость пахитосок. Они, вишь, одну за другой, от другой же поджигая, не имея перерыва курили.

Мужи пили, в основном, военные и спецы, советские, нарзан (покамест). Глушили стаканами. Душновато, правда, ещё было. И достаточно тесно.

Обносили половые в рубахах навывпуск, — между прочим, голландского полотна рубахи, снежной белизны, — подпоясанные шелковыми поясами, с лотками на животах, подвязанными за шею, для равновесия. Ходили, прям извиваясь между прибывающих. Много, много набралось статуй (некоторые в самых невероятных позах), тем более, литературных героев — не ток со всего околотка, прибыли (и ещё прибывали) с других губерний, и даж, похоже, со всего света. Как и задумывалось.

Дамы баловались лимонадом. Иные вгощались мороженым, откусывая его от стаканчиков (конусом) вместе с вафлями, вафли немножко крошились и ломались, сыпались на колена статуям, и те их стряхивали, так чтобы не заметно, оглядываясь... Брала пальчиками конфекты, разворачивая их, и рассматривали — что бумажки (энти даж на просвет), что конфекты с волшебными печатями. Ну и мармелады, на палочках, разные помадки с сахаром и засахаренные дольки (лимона). Любовались ими. Всё им было в диковинку. Давно не выбирались в свет. Иные ж и вовсе в глуши прозябали. Крайним успехом пользовалось смородиновое желе, подаваемое в розетках под салфетками с предложением серебряных ложечек. Ложечки были завернуты в длинные целлофаны. Дамы, опять же, развёртывая их, вслушивались, как они похрустывают. А то шелестят. Как платья... И прямо балдели, глядя на чёрные сладкие фиги (такой фурор произвели), доставленные с крымского побережья, лежали горками на тарелочках... Дамы прямо расхватывали их. Чё там — захихивались ими. Но, правда, стеснительно... Очень шло им. Никогда не пробовали.

Статуи и героини прям напиткивались сладостью... Прям светились. Прелестницы. Даж волоса их покрывались блеском. Взор же делался лучистым и мягким.

Там сям уже взрывались бутылки с шампанским. Пробки, выскакивавшие из горл, взлетали так высоко, что доставали до нижнего края месяца. Иные ж и перепрыгивали... Летели выше венцов месяца. Шампанское пенилось. С таким шумом и даж треском, будто ломались в саду ветки с бледно-зеленым цветом, и цвет лился на дам как б прям с месяца, на локоны им и на плечи... Хм.

От, написал так, что и самому даж забавно... Как эт так получалось у Вени (я ж писал с его рассказа), что зеленые ветки (в цвету) падали с месяца...

Что за фигня то есть...

Конечно, конечно, красота несказанная. Но...

Между тем Веня говорил мне, что месяц так низко висел, был так близко, что гулял по саду.

Под руку с Лизонькой...

И даж один раз споткнулся (на кочке) и прыгнул через лужу, прудик то есть.

Однако ж не достал до другого берега. Закачался на воде в вальсе с лилией... И обдал сад таким дивным светом, что страшно делалось. Что даж лилия как б оделась любовным сим, таким, от, лучезарным светом.

Не знаю, не знаю, кто как, господа, я ж Вене сугубо верю.

Однако...

Обещаясь верой и правдой служить статуям, Веня, будучи, как и мастер, левшой, положил руку на блоху, то есть на предмет, который был слева, вместо артефакта, который лежал справа и на который (на него именно, как ему граф наказал) надо было положить... Веня ж на блоху поклал руку. Лёгкое недоразумение. Впрочем, никто еного не заметил. Никто даже не моргнул глазом. Ни левым, ни правым. Ни так, чтобы обоими сразу.

Только Любовь Онисимовна, но уже запоздало, совсем запоздало, вскрикнула. Как-то придушено.

Не услышали. (Между тем, может, и пошли отсюда все последующие недоразумения).

Кто ж его знает, как граф это делал... Понятно, из за кулисы. Ясно, что спрятавшись между портьерами. Даже помощников у него не было. Так, чтобы по факту. Ну кто там? Церемониймейстер для объявления презентского выхода на глаза публике. Для дачи иного рода, конечно, уже не столь существенных оповещений в сравнении с презентским выходом, для придания им некоторой торжественности, что, конечно, важно, пыль то есть пустить в глаза, но не критически. В целом номинальная работа. Кто ещё там? Диктор. Для передачи комментариев по радио, разъяснениев что за чем движется, в основном же для политических всяких похвал и провозглашения здравииц. Наконец, суфлёр. Из собачьей будки подсказывает, чего говорить актёрам, ежели им память отшибло. Всё. А между тем управляет (граф-то) мировым действием, приводит в движение гигантскую машину, если опять же, по факту. И всё сам. Всё сам. Бедной. С ума спянуть.

Попробуй упусти какую нить. Тут тебе и Армагеддон.

В самом деле.

Только наобещал того сего статуям Веня, только произнёс тронную речь, только порезал себе палец и обменялся кровью с товарищами, чтобы закрепить союз энтою самою кровью, повязавшись кровью с товарищами, как церемониймейстер (кстати говоря, из крепостных графа, графом же и был назначен) взял и объявил бал, диот. Во всеуслышание.

Граф так и сказал, что он диот.

Подозвал его до себя, дал пощёчину.

Сказал, что бал он так, сам по себе уже идёт.

Щас же самое время запускать демонстрацию.

Церемониймейстер (ишь, наглец) зашипел, в свою очередь (на графа-то!), объявлял, мол, согласно этикету, царскому (с чего взял? с сивухи что ли опился?), в соответствии с установленным допреж, мол, порядком и в назначенные сроки (тож, как и актёрам, память отшибло), граф ему на энто вторую пощёчину, ну, вlepил, да ищё зуботычину... Сильную такую дал. Хых, самому презенту давал. А тут какой-то мейстер, да ещё церемон. Церемониймейстер тут ж согласился с графом. Конечно, диот, мол. Хых. Тут, если и не был, зделаешься. В секунд.

Граф для успокоения нервы немножко задумался, впал в размышление.

Поразмысливши, пришёл в движение.

Задвигавшись, побежал на улицу (из сада).

Сбегавши, вернулся.

Вернувшись, сказал, что как есть готова для демонстрации улица.

Настолько, что можно оборачиваться к ея садом (так и сказал). Зараз с гостевыми трибунами.

Да, вот ещё что. Граф пришёл в совершенное восхищение от улицы. Настолько сбита и столь ровным строем (коробками, полинейно) поставлена колонна (и эт только начало её) для выхода из Воскресенского переулка со всякими в нутрях у ней штуками, столь впечатляющая, груди ж у трудящихся статуй колесом, с такой экспрессией выпячены, столь напыщенные, прост фурор, косицы ж напомажены и букли под флагами, что видом колонна превыше параду. Как-т даж невдобно именовать сию композицию прост демонстрацией. Ну и сказал, что следует именовать оную и по наименованию соответственно объявить парадом. Ток первой его частью.

Нам чё. Как назвал граф действо, так и мы будем далее именовать его. Хотя, конечно, по всему это была демонстрация. Но ладно. Пусть будет по графскому. Следом мейстер, который церемон, получив разъяснения от графа, объявил уже саму демонстрацию, назвав оную, как и граф, парадом.

Нет, нет, но правда...

Удивительно. Как граф это делал.

Мановением перста. В секунд.

Дивно так провернулась (наново) сцена.

Именно что в секунд видоизменил граф диспозицию. И не меньше как на мировую.

В сам деле.

Как если б смахнул фигуры с доски. Движением руки. Поставил новые. И выиграл партию. И ведь не только пешками двигал... Царями махал! Генералиссимусами (убедемся позже)!. В самом деле, как это граф умел!?. Как удавалось графу сие проворачивание!?. Сии невозможные перестановки... Пра! Гениальный был режиссёр. Может, наилучший в мире, наизобретательнейший постановщик!

Глазам остолбеневших фигур открылась прямая улица. Прямая, как тот же графский перст. Ровная, как стол. Глаже шёлка. Крепкая, как броня у танков, как композитный материал, который на танках. Навроде «Армаматы».

Публика пришла в совершенное изумление.

Казалось бы, статуев их ничем не пронять... Такие у них физиологические аномалии в нервах.

Это не так.

Даж самых видных кидало в дрожь.

То есть в виду открывшейся перед ними картины, в виду явившегося перед глазами — многие подумали — видения. Но не видение, не видение эт было.

Даж самые крупные из монументов крестились, осеняя себя знаменами... Конечно, прежде всего от страха. Но и от изумления. Даже от восторга. Тоже. Но страх как б пересиливал изумление. И восторг тоже. Понятно, от изумления, но преж всего от страху... Лементарного.

У некоторых поджилки тряслись.

Потрясывало даж камни!

Веня и тот, хотя и презент, а тож едва в штаны не наделал. Как-то, от, удержался.

Дамочки и те занервничали... Даж которые бетонные, не говоря о гипсовых.

Взялись чегой-то пудриться... Особо албастровые.

Ваще охорашиваться.

И всё ж слышно было, как некоторые из них описывались.

У некоторых же открылись преждевременные месячные.

У иных предродовые схватки.

И у одной случился выкидыш.

На параде прям разродилась.

Чего тут было... И чего не было...

Сам парад смешался...

Невозмутимость, если честно, проявила только одна фигура, парадная, которая двигалась в самом строю, первой, точнее, заглавная часть ея, енттой фигуры. Даж не двигалась — летела на трубе паровоза.

Голова товарища Сталина.

С того теперь у Вени зубы стучали...

С того падали в обморок зрители.

Даже статуи.

Что собственно до Вени.

Веня не мог, не умел как-то внятно сказать, откуда в нём, правда, этот лютый страх перед Сталиным, как бывает перед гадюкой али пауком, инстинктивный и непроизвольный. Веня ток что не отдёргивал конечностей перед скульптурой, и не потому, что близко стоял. До озноба страшился Веня Сталина... Как бы само собой. С другой стороны, имел большое к вождю уважение... При страхе своём молился на генералиссимуса Веня. Поскольку был, опять же, в неискоренимом таком убеждении, что ток Сталин, один ток Сталин мог привести страну к порядку и даж процветанию (на крови, под-разумевал Веня). На крови, не то хуже будет. Без страны останемся. И завовсе без народу. И оттого творил моления Веня к Сталину, содрогаясь... Болезненный «внутренний» разрыв имел Веня, чреватый самоуничтожением... Такая, от, «внутренняя» психическая комбинация, такая драма имела место быть в голове и в сердце у Вениамина Ивановича.

Положение Вени или, так скажем, самочувствие Венино усугублялось ещё одним, как бы это сказать, опять же, ментальным, что ли, весьма щекотливым и страшным одним обстоятельством.

Мы пропустили кое-какие моменты, предшествовавшие мероприятию и из сложения коих один к одному картина его могла бы составить более устрашающей, ежели даж на деле была.

Как рассказывал Веня, сразу полагали запустить на парад одно только тулово Сталина, то есть без головы, поскольку головы не нашли, ни по каким закоулкам и свалкам, нигде почему-то не было. Тулово же имелось. И не одно. Но как же без головы? За полчаса до парада всё ж принесли. Но не сходилась голова с туловом. Ни с одним даже. Взяли голову. Одну.

Тут не лишним сделать ещё одно дополнение.

Вообще странно, что тулова и головы у Сталина в разделении.

Эт подозрительно.

Ещё подозрительней, что даже если найдутся, то тулова с головами не сходятся. Никак не стыкуются.

Почему?

Что за странности?

Числятся-то как целокупные. Значатся как наличные. И даже за целым рядом наших отечественных Орловских учреждений.

Вот, пожалуйста. В соответствии с документами. Согласно описям имущественного инвентаря, составленным: 1) комендантом (правда, почему-то без указания фамилии) общежития № ... (здесь неразборчиво) часового завода «Янтарь» от — (хотя и заляпана дата чернилами, но видно) — 1956 года; 2) директором публичного городского Шредерского Сада, протокол... (номер и дата стёрты резинкой, как и имена подписантов); 3) завхозом (тоже без имени, точнее, не расшифрованном нами) здания бывшего пединститута по улице Сталина (ныне Москов-

ской) в бывшем же доме купца Перельгина (ныне известном как банк «Ока»).

Из настоящих описей чётко следует...

Тулова в аккурат с головами (генералиссимуса), то есть в полной целости, не сами по себе, но именно будучи закреплёнными за вышеперечисленными учреждениями мало что стояли при них в граде Орле, но и поныне должны и обязаны быть, то есть стоять там, на том же, на утверждённом для них и указанном выше для каждого месте.

Опять же, почему, спрашивается?

Да потому, что нет, не имеется и не найдется вообще иных бумаг в отношении фигур тов. Сталина, за исключением настоящих описей с подетальным, между прочим, описанием фрагментов и внешности тов. Сталина в качестве статуи, с перечнем прилагаемых к статуям аксессуаров, как то: урн с цветами, чертежей тех же фонтанчиков и дорожек, долженствующих быть при Сталине, прочего. Тем более нет бумаг с указанием свыше, со стороны властей, на какие-либо перемещения, паче того, изъятия, на прочие любые действия в отношении изваяний тов. Сталина. Чтобы, скажем, им быть не там, где они были, или чтобы вообще не быть. Нет таких указаний. Следовательно, должны быть, так рассуждал и говорил мне Веня.

Кроме, правда, одного распоряжения. То есть бумаги, свидетельствующей о наличии такого распоряжения. Да и то, из которой одно лишь ясно. А именно: что на деле было не три, а два тов. Сталина.

Поскольку второй и третий Сталин — один и тот же.

Пединститутровский и горсадовский.

То есть было всё-таки одно перемещение.

Но только одно и одной статуи.

Из Сада к зданию пединститута.

Да, да, перемещён был всё-таки тов. Сталин.

Поставлен на главную, на центральную улицу собственного имени для усиления идеологического эффекту.

Поставлен... Но тут же и в ту же ночь украден.

Да... Гм...

Дня не простоял.

Дело, конечно. тут тёмное.

Мутное дело.

Но факт, что стоял.

Есть даже акт передачи статуи от Горсада Пединституту. И акт, свидетельствующий об установке.

Но никакого акта о краже.

Нигде. Ни одной бумаги.

Ни одного свидетельства, что пропал.

Если у кого и возникали вопросы (из тех, кто мог видеть Сталина в Горсаде и при Пединституте, там и тут, тот, мол, не тот Сталин при Пединституте, тот ли, который размещался в Горсаде), вопросы снимались вне всякого сомнения горсадовской урной, поставленной рядом с фигурой тов. Сталина. Те же цветы в ней стояли, те же, что качались в Горсаде, а именно левкой (такие же нежные, между прочим, как на клумбах у Вени, простите, у Бунина на углу Вениного дома по другую сторону от Вениного личного Сада в глубине Вениного двора).

Даже не завяли при внутренней эмиграции... Сталинские цветы...

Теперь же главное.

В ту же ночь (как бы это сказать, одноимённо с уже упомянутой ночью — ни числа, ни месяца, ни времени года, ни самого года указать не можем, нет, опять же, соответствующей бумаги, но точно известно) пропало ещё (в дополнение к вышеозначенным двум), ещё три вождя.

По бумагам же целые. И тоже бывшие в полном наличии. Как и первые два.

То есть. Как ежели б не пропадали. Не пропадая пропали.

Ни акта, ни протокола об исчезновении. Ни даж устного заявления от управляющего Орловским ж/д узлом, ни от дежурного по вокзалу... Что у них пропал тов. Сталин. Никому, никогда, никуда не поступало. Будто никак даж не растворялся Сталин, не стоял у вокзала по центру парадного входа между двумя колоннадами белой громадой,

вырастая, будто из снега, из пудры алебастровой глыбы.

Другой исчез прям с перрона... И тоже ни слова...

Третий, якоже дым, развеялся, с перекрёстка Герценовской и Московской улиц, восьмиметровый... Ни звука...

Где?... Где же тов. Сталин?

Куда отбыл генералиссимус?

Случалось, во дни народных волнений, правда, лёгких таких, как насморк, спит, спит, народ, вздыхал Веня, и все ж, мало ли что, а вдруг опять разойдётся стихия, сколько же можно терпеть всяких воругов, в такие дни Веня сугубо даже размышлял об исчезновении Сталина...

Ну и понятно, о возвращении его назад.

Как исчез, так и вернётся, думалось Вене.

Встанет. По площадям да по скверам.

При Пединституте и даже в Горсаде.

У вокзала и на Комсомольской.

На перекрёстке Герценовской и Московской.

Вообще на всех на перекрёстках.

Но отчего-то тряся да набирался страху от своей же от собственной мысли Веня.

Так он чуть не умер от вида одной только сталинской головы и даже без всякого при одной тулове. Той самой, о которой мы уже упомянули выше. Головы из мешка...

Да, да, притащили главу в мешке. Допрежь же, нежели её выпростать, взявшись за концы мешка и дёрнув за них, чтобы выкатить оную, допрежь правообладатель сообщил Вене, что эт, то есть в мешке — голова, но не сказал чья, прибавив нечто об опричниках (царя Иоанна Грозного), которые, мол, тоже на парад скачут... И Веня так и понял, что голова из тех, которые опричники приторачивают к сёдлам (как некий корпоративный их знак и символ). Эта, понятно (так подумалось Вене), пребывала в мешке в виду спешки, некогда было выкласть.

Именно в тот момент, когда голова покати-лась в траву, Веня следом или даже в самый

закатный её момент как бы с неким знанием дела, с большой определенностью высказался, а именно бросил:

— «Собачья!.. Можа, даже волчья! Така больша!»

Так для чё-т пригвоздил!..

Голова остановилась и стала (на попа) лицом к Вене. Немедля даж Веня прочитал собственную смерть в тигровых янтарных глазах Сталина.

Слава осподи, куда-т башку унесли.

Но, опять же, в виду всеобщей бестолковости и суеты не взял Веня в собственную голову, что енту, из мешка, Сталинскую, её принесли к параду, именно, в последний момент подготовили, как-то упустил сие Веня.

Одно слово, расслабился.

Теперь с утроенной силой так мелко-мелко, так постыдно дрожал, то есть завидя Верховного (правда, в усечённом виде, но) непосредственно на параде... Да ещё — на паровозе.

Веня даже хотел броситься к голове товарища Сталина, как-то объясниться, принести извинения ей, может, даже, посадить, как бы это сказать, на собственное место (презента то есть), но не знал, что скажут на это другие фигуры и будет ли это юридически правильно.

С того Веня, стоя на месте, как бы сучил ножками.

Туда-сюда, вперёд-назад...

Словом, от так, как-то бёгом, пристал к месту.

Энти разные всякие блики...

Голова с паровоза моргнула.

Как, от, Евангелина Иоанновна некогда с табурета, когда Веня принял её за мёртвую и в обморок пал.

Ноги у Вениамина Ивановича подломились.

Тож, на секунду, сознание потерял.

Едва успели подхватить и подпереть Веню, посадить на стул, точней, в кресло.

Однако ж только открыл глаза и поднял голову, как наново был сражён и повержен (морально) Веня.

Тут, чтобы понять сию впечатлительность, всю её меру, в каком столбняке пребывали зрители и сам Вениамин Иванович, следует бросить на полотно ещё на раз новые дополнительные краски, каких у нас нет, израсходовали, если честно признаться, однако ж попробуем.

Парад был замечателен тем преж всего и выглядел на отличку (от всех парадов, какие мы видели) в том смысле, что в нём всё ж участвовали в основном Орловские фигуры и разные Орловские именно композиции, несмотря, конечно, на солидные представительства из других регионов и даже стран. Какие были, такие представили. Каких не было, те не участвовали. С кого и чего взять-то.

Опять же, собирали парад впопыхах. Некоторые из предложений, которые были приняты, тож — приняты были не всегда и не совсем впопад. Иные наполовину только соответствовали. И так далее.

Потом. Памятники... Конкретно — генералам. И даж монументы полковникам и майорам... Я о тех, которым должно было стоять на параде во главе парадных расчётов от всяких там военных академиев, училищ, возглавлять военную технику, командовать воздушным сегментом... Проходом танков и самолётов.

Но здесь мы, конечно, имеем в виду только пешую часть. Проход пеших гвардейских коробок.

В отношении ж танков и самолётов — только макеты, которые должны были проносить перед трибунами трудящиеся статуи ещё до проходу гвардейских коробок.

Собственно о военной части парада с проходом танков и пролётом самолётов, от момента наступления этой технической (также как в самом мероприятии) также у нас явится своя соответствующая моменту повествовательная часть. Здесь же, повторяю, о пешей и в общей её последовательности части.

Понятно, само собой, при марше военных коробок командовали маршем майоры, пол-

ковники и генералы, случалось, капитаны, все из регулярной армии. Но и макетами управляли регулярные генералы (так решили, для солидности).

Так вот. Некоторые прям с постаментов командовали. Иные — с картин.

То есть: сойти не успели, насток спешили, прям с колон отдавали приказы. Другие, те, что на полотнах, которые вместе с картинами прибыли из музейных запасников, понятно — они тож, как первые сойти с пьедесталов, так энти далеко не все сподобились вылезть из красок, не все сумели выдраться. Так от, как были, так и стояли, застывши в масле. Так и командовали, не выходя из картин.

Чё с их возьмёшь, в сам деле, с энтих картинных.

С другой стороны, как и сказать. Какую брали на себя ответственность!

Какое мужество проявляли!

Некоторые из генералов руководили, будучи сами ещё из Петровских и Елизаветинских времён. Стояли при танках и самолётах в перчатках, в белых париках с буклями и косицами, иные с коками, обсыпанные с ног до головы пудрами (тут ж, рядом, из краеведческого музея повышли, всего-то в полста метрах от сцены), иные в мундирах — тёмно-зелёных, красных и синих, как попугаи, иные ж в меховых шубах и с муфтами (от мороза, с зимних кампаний). Артист, изображавший Петра 1 (сам Пётр не прибыл, да, только изображали некоторых, в которых нуждались, выдавали за всамделишных, хоть и реальный театр, а без подделок не обошлось), Пётр тот вообще ехал в золотой карете, правда, с открытым верхом, верно, в память о первом русском параде. Весь распаренный был, будто из бани вышел. Генералы ж не мыты. Не до баней было. Даж видно было, как почёсывались. Ну, от тлей да площац. Перебёгивали по буклям. Иные ж из охфицеров прям нещадно так в паху шкреблись. Так отчаянно, что даж видавшие виды дамочки (из зрительниц) и те стеснялись. Один (как эт сказать, ага) «картинный» генерал, тот даж с подушкой и периной на пост прибыл, так от заявился, и — с самова-

ром. Которые же были в шубах, энти — чихали. От пыли. Пыль стояла столбом. Хоть сам «Муму» заметал улицу.

Тут, опять же, нужно напомнить, что демонстрация, гражданская, она была как бы совмещена (да и то в последний момент) с парадом, трудовой и гражданский моменты с военным, практически вообще смешаны, то есть в силу специфики... Однако вся эта мешанина и неразбериха она, может, была даже к лучшему. Поскольку большинство орловских фигур, как наружных, допреж стоявших по улицам, так и внутренних, из зданий, как б сразу были готовы и для парада и для демонстрации — под флагами и при знамёнах стояли и нередко даже с автоматами, а то и с пушками... Отделить было даж невозможно вооружения от фигур... Посему и было скорее всего так решено графом, хоть и в последний момент, не разделять торжества на условные категории, вообще как б затачать так фигуры, совместить их. сразу — как с парадом, так и с демонстрацией. Эт решение правильное было. Особ энто подходило для многофигурных композиций... Такие они многофункциональные были.

Всякие были фигуры.

Композиции.

И вооружения.

Что до вооружений.

Представлены были, начиная с дрекольева.

Даж с допотопных времён.

С первобытных орудий.

Поскольку, повторяю, музеи рядом.

Были танки, были летаки — с пропеллерами и — без, с трубами и с огнём в хвостье, как соизволили (где-то допрежь) выразиться и изъясниться граф.

И так далее.

Отсюда, конечно, некоторые и даже многие несообразности в вооружении. Некоторая разбросанность и разностильность в фигурах. Мы уже сказали о царевых генералах. Коротко о разных прочих. Об внутренней (выказываемой) и внешней отделке фигур. Собственно внутренняя как-т напрочь связы-

валась с внешней, на ней и завязывалась, и крепилась на внешней, исключительно, стороне моделей. На том же зиждилась, скажем, покрое френчей (или фраков), на отделке овчинных офицерских тулупов (ВОВ) или выделке дамских шубок (НЭП). Мы уже не говорим о летних платьях, фасоне горжеток и шляпок и, пардон, трусиков (у физкультурниц). Не все, понятно, одеты были по сезону, кто как, как кого каким сделали и слепили, как прописали в сочинениях, что в выражениях (в позиции, к примеру, носов — у мужчин, у дам — в завивке ресниц, ресницы дают особо загадочное выражение, в каждое время своя завивка и мода), что завовсе без выражения (были, были, случались и такие). Или вот шаг. Насколько выбрасывают ноги марширующие, что солдаты, что физкультурники, что просто гражданские. Мы о тех, которые двигались в шеренгах, открывая пеший парад. Иные тянули носки, другие шли с подскоком, третьи неприлично как-то даж... Семенили. Так, от, угодливо, что было стыдно, как подавальщики в трактире, ну чисто лакеи.

Да, времена тут сошлись. Прямо сбились в кучу. Эпоха к эпохе. Одна на другую лезли. И даже перемешивались. А чё в головах было?! Такая сумятица! Нешуточная такая заваруха. Как если б шла рубка! Идеиная! Даж слышно было, как трещат головы! Иные — от напряжения — раскальвались!.. Там сям сыпались вниз осколки, яко же черепица.

Однако ж был некий тайный (и таинственный) провиденциальный смысл, просматривался некий высший порядок — в сём (местами, пускай, пускай) даж совершеннейшем беспорядке, в сём, без сомнения, восхитительном безобразии, в сём маршевом и строевом колонами движущемся столпотворении. Такая от диалектика и диагностика. Сквозила некая завораживающая внутренняя сила от столпов и истуканов! От одного вида в дрожь кидало.

Отбор же для участия производился преж всего по крупности фигур, объёму и величине их... Так рассудили.

Хотя, конечно, отдельные, будучи мелкими (относительно), сильнее других и даже магнетически к себе притягивали, как голова товарища Сталина.

Словом.

Открывали парад орлы, натуральные, возможно постольку, поскольку город их имени... Нельзя сказать, что тоже были особо крупные, в массе, но и не так, чтоб какие-нибудь шибздики.

Впереди же шли ну прост гигантские птицы. Птица, которая по центру, парад возглавлявшая, несколько поперёд двух других, с Гриновского культурного комплекса была. Сведя плечи к голове шла, как в бурке, нахохлившись.

Две других чуть сзади и по сторонам (одна с ж/д вокзалу, другая с улицы Комсомольской, рядом с 909-м кварталом) с ноги на ногу переступали и — туда сюда зыркали. Вроде добычу высматривали. Крылья навзмышку — расправленные. Когти распушенные. Клювы — крючьями, как у Яги, книзу загнутые. Хищные! Снимутся — схватят. Та и уташат.

Одна (из этих, на шаг отставших) была медная. Другая из хворосту (до медной тоже напротив вокзала стояла, потом уже перелетела на Комсомольскую), как б совсем была натуральная, с того особо прекрасная, столь выразительная.

Далее уже — строем — птицы в сам деле помельче ехали. По четыре в ряд. На шарах. Так же, впрочем, как и первые (сразу мы забыли сказать). Так, от, лапами перебирали, что шары катились. Сферы, понятно, представляли собою землю, олицетворяли. Иные из орлят, птенцов то есть, баловались и ещё (как бы в дополнение) крутили глобусы, придавая им добавочное, не только вперёд, но осевое, правильное вращение. Крупные птицы, выпустивши когти, нет, нет, так сжимали сии континентальности, верно, полагая оные за добычу, что взмывали вверх и даже облетали город вместе с материками, далее высматривали, куда (а может, и на

кого) сбросить ношу, — слишком тяжёлой оказывалась.

Дюжины птиц, дюжины дюжин сидели на шпилях — со всего города послетались. Узурпаторы сидели на эркерах. Высовывались из форточек. Засевали собой все крыши и чердаки, которые сделались чёрными от тьмы сих вандалов. Весь сад, само собой, был унизан орлами.

Орлы качались на ветках, ходили между цветами, и даже пили на брудершафт с дамами. И офицерами — тож.

Следом ехал паровоз с красными колёсами (и этот — с Грина).

Внимание!

На трубе с головой товарища Сталина!

Той самой!

Голова стояла под дымом, как под знаменем...

Мы уже описали катаклизмы, случившиеся с Веней при виде диктаторской головы. Умолчали о конфузе, нутреннем, да, господ, который испытал следом Веня, когда был усажен на стул, извините, посажен в кресло...

Веня даже всплеснул руками! Как эт, что обознался Веня!

Что там Веня! Весь парад обознался!

Голова-то, господ, голова — была Вениной. Но... с усами. (Веня ж в тот вечер усы сбрил, перед встречей с Катериной Львовной: вдруг понадобится целоваться, а усы колются).

С того и обознался, что оказался с усами.

Паровоз немножко пыхтел...

И как он пыхтел, на это время имел некоторое размышление Веня.

«В секунд, значит, меня слепили!.. От, гады! Когда ж и успели?!» — думалось Вене.

Меж тем как Веня слышал бурю рукоплесканий.

Всеобщее ликование от собственной, от своей, значитца, головы несколько смягчило гнев Вени, поубавило ярости, готовой уж было пролиться на подхалимов (Веня имел в виду скульпторов), но всё ж неудобно как-то

от представления собственной своей головы... вы...

«М-да, — отметил про себя Веня, — так, от, и привыкнешь... к почестям. Конечно, надо будет к чертям собачьим, — (и вздрогнул снова при сём слове), — выбросить эту голову... Убрать её с паровоза...»

С другой стороны, «как ж без головы...» Так тоже подумалось Вене.

Паровоз, видимо, изображал (прежь всего) мощь нового монументального правления, мощь, которая и демонстрировалась на параде.

Голова — интеллект и волю, которыми мощь энта образовывалась.

Далее вновь шла гисторическая ретроспектива.

То есть с заду наперёд двигалось время, от начала...

Нет, тут, безусловно, существовал свой и даже железный порядок.

Рёв толпы поверг в новый трепет Веню.

Графская иллюминация, правда, может, чуть ослепляла Веню.

Но случилось тут такое невозможное сияние, которое едва не сожгло Веню (правда, опять же, может, просто глаз воспламенился у Вени, да и то больше от нутренней впечатлительности Вениной, нежели на самом деле).

И, о господи, в голове у Вени совсем что-то перепуталось... За кого себя самого принимать. И на кого из вновь выезжающих смотреть. Правда...

Как бы и что бы там ни было.

Статуи, ломая постаменты, отрывая от них ноги, вырывая их, что называется, с мясом (из сапог, ботинок, туфелек, ботиков), иногда ж (которые стояли на постаментах босыми) оставляя ноги (энтот фаланги, тот плюсну, а то всю ступню с пяткою, даж целые голени) прыгали в виду энтого сияния вниз с постаментов наземь, с некоторой даж истовостью прыгали, с некоторым исступлением, и, случалось, разбивались (особ гипсовые) вдребезги...

«Царь! Царь!» — неслось по трибунам.

«Иоанн!»

«Грозный!»

«Иван Васильевич!»

«Рюрикович!»

«Основатель города!»

«Сам едет!»

«Прибыл-таки!»

«Верна! Загнал сто лошадей!»

Фигуры (которые ещё сохранились) падали ниц и били челом о гранит.

У некоторых, правда, разбивались головы.

От разлетавшихся черепов по улице сделалась настоящая дробь.

Но всё, всё прибывали новые фигуры (конца не было им), всё тянулись и сходу вставали в строй герои — одне в танец на бал (в саду), другие на парад становились, третьи вливались в ряды к зрителям, так что и не наблюдалось никакого урона (тем более, невосполнимого), только что приходилось тотчас заметать, срочно мести улицу, складывать в мешки пробитые буханием о парат головы, загребать тулова и конечности, с пылью, с прутьями, с проволокой (основой скульптур) и кидать шкелеты в кузова машин (последние тотчас даж прибыли и всё ещё прибывали по вызову из коммунальных служб, коммунальные службы в Орле хорошо были поставлены даж с времён ещё первой империи, досоветской).

Веня тоже со всеми привстал с места.

Вообще говоря, всадник, царь то есть, Иоанн Грозный ещё только начинал свой выезд (а уже столько народу попадало, такое началось столпотворение).

Самодержец только выявился из Воскресенского переулка.

Далее, пересёкши Комсомольскую, должен был двигаться повдоль и мимо гимназии (из которой выгнали, взашей, Колю Лескова, как неуча), засим только уже, свернув влево, выйти на главный, дивно расширившийся, прошпект — на Карачевскую улицу со сквером Ермолова по одну сторону

и ансамблем лесковских фигур по другую на торце бывшего Вениного дома и перед церковью архистратига Михаила. Трамвайные линии то ли убрали, то ль срочным порядком как-то замостили, движение ж трамваев, вообще было приостановлено, поскольку не положено ходить трамваям во время демонстраций и парадов в центре города. В любом городе.

Конечно, Веня не мог видеть, заслоняли другие фигуры, так чтобы сразу, всадника. И никто не видел, то есть никто из сидящих рядом с Веней фигур — ни по одну, ни по другую сторону улицы. Одна ж фигура другой обзор закрывала. А в основном видные крупные были фигуры. Никто ничего не видел. Но все падали. Как если б падали перед призраком. «Како-т коллективное помешательство, — думалось ещё сгоряча Веня. — Што за психоз!» Даже жуть брала Веню. Зрел даж Веня, как некая панацея как бы в виде образа Грозного летала над городом и проникала в человеков (к кому изнутри, как бы снизу, через ноздрю, другим через обе ноздри сразу, к третьим через уши вползала, к четвёртым вообще через все дырки, «и таки, о каких говорить стыдно» (слова Вени, переданные мне не без смущения), даж через поры влетала... Спасения не было.

К сему.

Веня обожал Грозного.

И всё ж: «Сколько он запорол, утопил, зарезал, затравил, вбил сколько», — мелькало зачем-то в голове у Вени.

И тут Веня с каким-то страдальческим чувством, с жутким, увидел, как его собственная голова (она же, она же была на паровозе, только с усами сталинскими, с носом его, но как у Вени взъерошенная и как бы отрубленная, такого была вида) прыгнула с трубы паровоза и полетела к царю... В ноги к самодержцу. Под копыта коню.

Как раз царь показался на глаза Веня. И Веня всё видел.

Веня (тот, который сидел в кресле) схватил себя за волосья. Одной рукой. Другой

дёрнул за цепь — с блохой и фальшивыми бриллиантами, то есть с отличительными знаками, которыми его украсили, успели-таки навесить на Веню, — рванул её...

Цепь осталась неколебимой.

Только что чуть не задушился оною Веня.

Голова так долго, долго летела...

«Разобьётся же! Твою за ногу!»

«С нею ж душа... Верно, как только убёгла, вселилась в голову, вместо сердца...»

Меж тем как сияние уже с головой накрывало Веню (от близости особы царской).

Меж тем, как птицы продолжали маршировать, проходя перед Веней, правда, неумеренной, слишком длинной колонной. Фигуры ещё любовались орлами, которые к тому ж теперь не только вращали сферы, но и зачем-то кричали, повернувши всем строем головы к Вене (впрочем, верно, как и положено на параде), приветствуя Веню. Сирины (ибо всё чудилось, что птицы эти с человеческими головами) открывали жёлтые клювы, так, будто бы задыхались, и — крупные: — хрипло и глухо лаяли (никогда б не подумал Веня, что орлы кричат так, будто бы лают, так, от, по-собачьи, гавкают). Которые поменьше — мяукали (так мяукают скорморохи-орланы)... И вот они — все тож, все теперь — оборачивались назад, к государю, не к Вене, увы.

Как раз, как только приблизился всадник к Вене, голова Венина шлёпнулась — под копыта царевой лошади.

Лошадь, поднявши уже копыто, опустила его.

И раздавила главу.

Слышно было, как хрястнуло.

Веня вскрикнул.

Переклонившись в седле, упершись в стремяна, так что шпоры вонзались в бока лошади, скульптура низко нагнулась к земле, ухвативши (кто, говорят, за ухо, кто за волосья) Венину главу, — конь вздыбился, встав на задние копыта, и всадник (Иоанн Грозный) на секунду застыл с подъятою над собой, взнесённой над целым городом головой Вениамина Ивановича Голубя.

Парад охнул. Дале затих.

И слышно было, не только видно, как царь поднеся до себя башку Вениамина Ивановича и, для чё-то заглянувши ей в заведённые ею глаза, поцеловал голову Вени в губы. В распряленные...

Веня обтерся, сидючи на трибуне. Веня брезговал мужниными поцелуями. И даже сплюнул.

Шедший рядом с всадником (все спрашивали, кто, кто это) человек (то ли дьяк, то ли какой приказной стряпчий), не мешкая, что-то записал на бумаге, скорее всего, занёс имя Вени в синодик (в святцы), чтоб помянуть.

Царь приторочил голову к седлу, поклав её допрежь в мешок (как бы заместо головы собачьей). И шествие двинулось далее.

Как только перенёс Веня...

Да. И ещё чуть не умер (вдобавок) от усилившегося над собою сияния...

Так страшно сиял крест над головой государя, взнесённый одесную.

Так остро сверкал меч в шуйце его, опущенный острием долу.

Так звонко, так громко (что копыта отдавались в сердце у Вени) цокал подковами конь, весь в медной зеленой мыле, будто в весенней пене (даж покрасить ещё не успели, как впоследствии говорил мне Веня, так спешил, от, царь).

Не столько от гипсовой пыли, которую подняли в воздух дворники, — в связи с поспешной уборкой фигур, — сколько от ещё большей, в виду всё больше пронзавшей сердце Вени печали, крупные слёзы наворачивались на глаза у Вени. Напрасно Веня протирали глаза. Видения не исчезали. Картины не менялись. В какой-то (уже безумной) смуте смотрел Вениамин Иванович на разворачивающееся перед ним (какое-то впрямь уже не от мира сего) шествие. Возможно ли такому быть? Может, чудится. Не стоило задаваться вопросами. Легче было принимать всё, как есть. Может быть, ряженые... Граф он такой умелец. Может, в

самом деле... Слёзы сами собой падали из глаз Вени.

По брусчатке вслед за Иоанном Грозным двигались... потусветные.

Нет, никак не мог определиться Веня. Может, они только наполовину, всё ещё сомневался Веня.

Да, в течение всей этой ночи, пахнувшей вишней и смородиной, чёрною, невероятной по восхитительности и безобразиям (разного рода), в течение всей этой, конечно, во многом даж страшноватой (ах, это оборотничество статуй, энти громады по несколько центнеров весу (как, от, Николай Семёнович), которые наклонялись над Веней, общаясь с ним и, конечно, немножко пугали Веню, да, в продолжение всей этой страшной и пылкой (по многим моментам, в смысле, скажем, мимолётных тайных касаний, которыми Веня обменивался с каторжанкой, которые даж перемежались нечаянными, а то и взасос, публичными, вразнос, бессовестными поцелуями), в течение всей этой непостижимой, терпкой и горькой, ненасытной, чрезвычайной (до подсудности и тюрьмы, по политическим мотивам) ночи случались, случались особенные тем не менее минуты, особенно роковые, совсем уж невозможные и — страшные, страшные такие мгновения, в которые Вене делалось даже совсем невыносимо, которые не выскажешь, так что не приведи господи...

Чудилось же Вене, мы рассказывали, как под зёмлём, бывшей в своё время погостом, над которым и были воздвигнуты статуи, за оградой церкви Михаила Архангела, практически под стенами храма, будто стенали и вопияли кости... И так чудилось Вене, всходили. Там, где бились вятчи с ворогами. Тогда мурашки бежали по телу у Вени.

Но тут...

Не чужеземцы. Не вороги.

Свои, сугубо, которые со своими же бились.

Свои же шли...
Опричные и земские...
Единокровники...

И кровь стыла в жилах у Вени.
Страшно делалось Вене.

Приказами. И даже полками шли...

По высланной за ночь (под утро) брусчатке.

По улице Карачевской.

По центру града Орла!

Ни по какому другому даж городу!

Конечно, немножко шаркали. («Но что ж вы хотите? Полежите с ихнее»).

И, конечно, одежды на них были ветхие.

Впрочем, не стоит сие отдельного описания (в отношении их платьев и прочего). Во-первых, неуместно, во-вторых, для чего же пугать читателей.

Безусловно и по всему это лишнее.

Да и сколько можно...

Посему коротко.

Конечно, по возможности.

Одно слово. Волосы дыбом поднимались на голове у Вени. В двенадесятый раз.

Граждане двигались не так, не совсем так... чтобы как пленные. Скажем, как под Москвой, как французы при отступлении посредством бегства в зимней кампании, от Москвы, как видел Вени в кино (русских при отступлениях в кино не показывали); или те ж фрицы во время прохода их по московским улицам (в Отечественную) — ноги (от обморожения) в обмотках, головы тоже закутаны, в тряпки, так двигались, как если б с завязанными или даж зашитыми (собственноручно) ртами. И смотрели невидяще, прямо перед собой... Шли, как если б руки и ноги у них были с вывихом, суставы ж развинченные, — одно слово, как свихнувшиеся автоматы (уже неживые).

Похоже, и всё же не так.

Что-то грозно-тревожное было в настоящем (перед глазами Вени) несанкциониро-

ванном (ни одной инстанцией) шествии.

Да, тихие. И — убитые.

Безмолвные. Сугубо. Отрешенные... Да...

Но — незамирённые. Непримиримые. Навек разделённые.

Ибо двигались двумя колоннами, не сшиваясь, — убийцы (справа) и убиенные ими (слева), жертвы и палачи, — рядом, потому как все — мёртвые.

Тихие...

Княжичи — не почитали царя как помазанника и наследника Византийского царства, цесаря римского, гордецы — шли с головами (срубленными) — в руках на отлёте (как бы заместо головных уборов);

бояре — думские и воеводы — на сторону глядели, энти на турков, те на ливонцев, раздиралось ими на усобицы царство, крестоцеловальной клятвы царю не соблюдали, святотатцы, — с раззявленными тонкими ртами шли, безгубые, с отрезанными носами, с вырванными из глоток языками — без стона и вопля, немые и безголосые, неотмщённые;

иереи, примкнувшие к ним, служилые люди, отпавшие от государства, послушники и лиходеи земские, — все, все изменники, все злодеи, все шли искорёженные, разрушенные — полуразорванные, полузадавленные, сплющенные.

Отдельно — жонки боярские с детками, новгородские, с «злотворным их семенем» — как если б прямо из прорубей выпнулись, в которых их топили, как если б вырублены были из льда — так волосы хрустально по девам текли, будто по русалкам, так слёзы с глаз их падали — кусками, сверкая, будто срывались в бездну градины и, не долетая до бездны, бились вдребезги о брусчатку — такими брильянтами.

Как скелотыми или ломом преломлёнными.

Только меч, только крест над царём сиял тоньше...

И нестерпимее.

Тоньше молодого (над садом) месяца, лившегося на мёртвых тихим нездешним светом.

«Чище даж слёз новгородских, — зачем-то и как-то невпопад подумалось ещё Вене. — Холоднее новгородского льда».

Какая-то (как бы даже вековая) усталость накатывала на Веню от сего света, глаза спалились. Сознание делалось обморочным.

Шли — утопленные.

Зарубленные. Заколотые.

Пыточные.

Подноготные — с гвоздями под спёкшимися роговицами.

Зашитые в медвежьи шкуры, мученики...

За этими следом бежали собаки из царевых псарней (для наглядности, «Ах, граф! Граф, граф расстарался!»), рвавшие в своё время несчастных.

Посаженные на колья...

Четвергованные — безрукие и безногие. Сваренные в котлах — безкожие. Без дыхания — задушенные.

Левой колонною подвигались.

Правой — слуги царевы, «псы государевы», опричные, те, кто резал левым носы, рубил головы, сажал на колья, топил в прорубях, зашивал в мешки...

С тускло-убитыми, направленными внутрь себя взорами, и — слава богу! Ибо ещё как бы не остывший мозговой огонь испепелял им чрева их и их кости, — от сих фигур пахло огарками, будто они горели в строю (будто в аду) заживо, не смотри, что мёртвые... Не остыли ещё!..

И Веня обмирал, может, один только Веня (поскольку все другие из зрителей, что на улице, что на правительственной трибуне, всё ж таки были каменные, ряженные, вымышленные, иллюзорные), только Веня один переживал, как бы они (кромешники), забывши о том, что они мёртвые, не бросились на княжичей и бояр, опять же, перепутавши тех с живыми... Не приведи Господи!

«Нет, и всё же, и всё же... Когда б не парад, никогда б и не встретились, — думалось между тем Венечке. — Теперь от вместе...

Одним строем по площади!.. Какое ни какое, а всё ж замирение... Чего ж и делить теперь им, мёртвым... Правда...»

Делить было нечего.

Опричные, обласканные и одаренные вотчинами и поместьями, в свой черёд на полях полегли, пали в сечах (с чужеземцами) за Отечество.

Которые царём были страшно наказаны — царём же по смерти их прощены.

«Царь так страстно, так страшно, не щадя своё живота, молился за них — ночью напролёт, за души их окаянные, изводясь от видений. Так страстно и истово, так страшно, что умирал каждый раз, за них же, много — и даж тысячекратно. С того и идут за ним, боговенчанным, следом, увечные и искалеченные, утопленные им и зарубленные. Любят они ево! Чтобы там ни было... Скажи! — обращался ко мне Веня, рассказывая о параде. — Скажи! Кто щас за нас молится! Отлично за меня! Из правительства!?. Кто из них за меня, Вениамина Ивановича Голубя, вврёт!?. — замечал мне Веня и отвечал: — Нихто! Ни едина даж, даж последняя шавка! Не говоря о волках. А ты говоришь... Чтоб у тебя язык отсох отступиться от государя!..»

Что бы и как бы там ни было, проезжая мимо Вени, царь, — все видели, — обернулся к Вене.

Сердце у Вени забилося.

Самодержец как если бы отдал гисторический рапорт Вене, как бы вручая некую эстафету. Может, конечно, просто поприветствовал Веню, как участника демонстрации и парада. Но видно же было, как-т на особку. Без сомнения, как законного своего, последнего в чередё их, наследника и преемника, вне сомнения. Царь даж повёл крестом сверху вниз и слева направо, словно бы благословляя на труды Веню. И даж ткнул мечом в него, поправляя при этом зачем-то мешок с головою Вениной, с головой, притороченной к луке седла.

Веня теперь сидел весь сиянный царевым светом.

Безусловно, что не только собственная Венина голова, но даже и вся фигура Венина получила порцию царского света.

Даже та голова, как показалось Вене, которая была в мешке, и та ему просияла через дорогу и через дерюгу.

Веня умилился.

Сморгнувши глазом, Веня (так быстро-быстро) достал карандаш из двадцать седьмого кармана комбинезона, из двадцать шестого бумагу и, совместивши их, стал столь же быстро чегой-то малевать по картону.

— Чего там у тя? — осведомился граф, наклоняясь к Вене. — Тя нельзя отвлекаться.

— Запечатлеваю поцелуй Его, Иоаннов, на бумагу. Ну, так, значица, как для потомков, — отвечал Веня.

Однако ж, к изумлению Вени, рука, которою он взял карандаш, плохо повиновалась.

Веня поднял её и посмотрел на просвет.

Костяшки пальцев у Вени всегда были как гранит, а тут сделались как бы мраморными. Побелели... Как бы даж светились. И изнутри шёл свет. Даж заметны были вкрапления. Как бы чёртовы пальцы сделались у Вени. Такими, от, встали прямыми конусами. Такими точёнными. И как бы шлифованными. И как бы протереть их забыли. Ещё известковая пыль сидела на них. При этом определённо, что увеличились, удлинились и плохо гнулись. Внутри материала, даж дураку было понятно, совершалась «внутренняя» кристаллизация.

И тож — и в ногах у Вени, и даж в особености, — образовались как б онемелости. Не то полости. Всякая мёртвость она начинается с ног, знал Веня. Ноги не то чтобы наливались тяжестью и тянули вниз... Конечно, тянули. Но более отнимались. «Эт как при медовухе», — мелькнуло ещё в голове у Вени. Как если б не стало ног у живописца.

Меж тем как каменело и чрево у Вени.

Во всём даж Венином теле случилось какое-т нечувствие, распространяясь окрест, то есть напротив, от периферии передвигаясь к «внутренностям».

«Можга, инсульт... Далее — паралич!..» — растерялся Веня, замечая, как сдавливает ему горло и даже всю грудь. Как если б от... пуговиц. Хотя, надо заметить, платье его было с открытым воротом. И всё ж таки...

Веня решил расстегнуться. Даж сбросить с себя комбинезон. Так, без шитья, остаться. Как обнаружил под платьем — китель... Ряд пуговиц, застёгнутых. Даж орденов... Китель прирос к телу.

Меж тем как, вне сомнения, кристаллизация продолжалась.

Сделалось всеобщее похолодание Вениного организма.

Приближение его к тому состоянию (или консистенции), которые, верно, могут быть только у каменьев, неважно, что это — гранит, мрамор или даже лёд (тот же, новгородский). Два последних камня, заметим, при соответствующей отделке могут слепить глаз.

Правда, Веня так ощущал себя, как если б стал большим сверкающим обломком.

При всём том Веня никак, совсем не признавал, что превращается в статую.

Теперь окончательно.

Право, нельзя ж всё таки только причислять себя... К памятникам. Надо и делать... Быть.

Ведь даже и при жизни иным из презентов ставят памятники... Из Вени, из живого, решили слепить.

Вон оно что...

Так, на всякий случай, исподтишка, Вениамин Иванович оглядывался, какова реакция, как смотрят статуи на те изменения, которые претерпевает он. Как они их находят? Отмечают ли?

В одно время и сам в себя продолжал вслушиваться: как эт, когда сердце оборачивается в камень?

Может, может, и душа убёгла...

Но о Господи!.. Как ж без души...

Веня крестился.

Фигуры меж тем продолжали валиться под ноги следовавшему по монументальной площади Орла государю.

Теперь уже сами опричные расчищали дорогу перед конём. Споспешествовали, так сказать, коммунальщикам. На раз-два с гиком и уханьем кидали остовы павших (стануюю, так сказать, арматуру) в зёвы машин. Коммунальщики заматали.

Царь уже заметно удалился от Вени.

Будто и дела не было уже никому до Вени.

Вообща, будто бы все запаматовали о Вениамине Ивановиче.

Разве что суфлер, назначенный графом, в парике и буклях, выскочивший из будки в виду каких-то нестыковок и неполадок на проезжей части улицы, просипел в ухо Вене, пробегая мимо:

— Господин презент, господин презент! Диктора не видали?

Веня мотнул головой. «Какого ещё диктора?»

И даже вслух выразил недоумение. То есть проявил некоторое непонимание момента.

— Из местных, из Орловских взяли, хошой в свое время был голос, — пояснил будочник, — только что пьяница, как бы завовсь не запил... — и будочник назвал фамилию. — Парад ить комментировать нужно. То есть ежли по последней моде, согласно новым веяниям. А некому... Конечно, может, то и с перепугу спрятался.

Сказал и исчез.

И только и то, что через минуту провели мимо Вени, правда, немножко пошатывающегося комментатора.

И больше ничего такого не было.

Никто не тревожил Веню.

Однако ж Вениамина Ивановича не покидало странное убеждение, что он находится под чьим-то пристальным и неотступным, непрекращающемся наблюдением.

На площадь вступали новые силы...

Правда, Веня, обворожённый царём, ещё как бы не отдавал себе отчёта... Плохо понимал Веня.

Будто кто-то целился в Веню сквозь прорезь прицела... Щас, от, кокнут.

Будто бы каратели окружали Веню, кольцо их сжималось, неотвратимо, щас возьмут Веню.

И так при всём при том казалось Вене, будто убийцы энти — изделия нечеловеческие.

Чудовища обступали Веню. Как если б во сне...

Слава богу, граф подошёл, тож прежде куда-то девшийся. Однако ж сказал что-то во все уж несуразное.

— Не выдержишь ить... Быстрее превращайся в статуи! Быстрее, Веня! Статуям, им — до фени! Стрельнут в тебя — ток поцарапают. Душить будут — не задушат. Ток — не падай!.. Не вались царю под ноги, как энти, которые попадали и расшиблись. Вдребезги...

Граф так склонялся, что прям обнимал Веню.

— А что, — прибавил. — Не зря я взял в советники к себе такого хорошего консультанта, всемирно известного, настолько знаменитого, — граф был, кажется, не один и смотрел немного на сторону, на своего спутника. — Не понаслышке знал обстановку, — сказал и перевёл взгляд на площадь. — Гля, как воспроизвёл! С какой тонкостью! Вишь, одной ток композицией, а сколько страху на тя нагнал! Знакомься! — граф несколько отклонился, уступая место выдвинувшейся изза него другой фигуре.

Серебряная сиреневая тень упала на Веню. — Иван Алексеевич! — пролепетал Веня. Бунин слегка кивнул.

Тут только Веня заметил...

Что-то сломалось в графском сценарии.

То есть с появлением Бунина.

Что-то сделалось с гисторической ретроспективой.

Как если бы кто-то пошептал где-то и что-то... Кому-то. Кто выше был графа. Кто выше был Вени... И даже всех человек.

И, значит, случилась какая-то пертурбация (с временными дистрибуциями). Время проскочило вперёд (может, на часах, которые в карманах у Вени), может, в голове у самого Вени, — не исключено, что в целом мире. Что-то сделалось с мировым (но преж всего, конечно, общероссийским) гисторическим временем и соответственно общественным устройством и порядком. Эпохи набежали одна на другую, взгромоздились и рассыпались, как бы уступая место одна для другой, для внеочередной, как бы для прямой передачи эстафеты: — от «псов государевых» к неким другим с иными же кличками и наименованиями лицам, хотя тоже государевым. Как если бы одна логика подменилась другой и неумолимой логикой и последовательностью. Тайной («внутренней»), страшной и неотвратимой. Как если б в то же время ничего не менялась, а стояло на месте. Площадь стала покрываться натуральной тьмою. От тысяч и тысяч новых (по виду и содержанию) крошечников. Как если б сделалось форменное светозатмение.

Заместо Екатерины Великой, вместо золотой кареты с царём Петром первым, как ожидалось, вслед за опричниками, наступая на пятки им, местами мешаясь с ними (иногда ж подменяясь — одни другими — для передышки (?), на монументальную площадь вступали новые (теперь уже советские) — особисты, те, первого ещё призыва — чекисты. Сотрудники и работники ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НГКБ, все — тож мёртвые. За ними — революционные массы.

Левой колонной.

Правой — из расходной, выкошенной, ликвидированной, ухандоканной части.

Левой же колонной подвигались предшественники революционной массы. Царевубийцы. Бомбометатели. Кадеты и эсеры. Большевики.

Наконец... Красные.

Правой шли — белые.

Контрреволюционеры. Реставраторы (империи). Буржуи. Генералы и офицеры.

Все (белые и красные) — бледные. Обескровленные. С пущенной (или самотёком, под выстрелами) вытекшей кровью.

Кровью забрызганные.

Двумя колоннами.

Однако же — будто бы нераздельною...

Места не доставало всем.

Все — расстрельщики.

Все — расстрелянные, своим чередом.

Левые, правые, белые, красные...

Площади не доставало.

Делалось мёртвых видимо-невидимо.

Ни конца, ни краю...

Верно, спешили... Стягивались...

Будто бы с новыми собирались силами.

Как это граф устроил...

Непостижимо.

Тут, верно, имел место, опять же, тайный некий и даже всемирный сговор, метаболический некий всемирный гешефт с приданием мёртвым смертной их силы, с вручением восставшим всяких разных механизмов, приспособлений и устройств для подъёма на поверхности и прибытия на парад.

Земля вспучивалась.

Бульжники выворачивались.

Являлись...

Все разом.

Кровопийцы и супостаты (помещики да буржуи, временщики). Ниспровергатели монархии (те же революционные массы) и её охранители (смотри выше). Все — защитники Отечества.

Все (левые в глазах правых, все правые — в глазах левых), все — кровопийцы, все ренегаты и провокаторы, все предатели и изменники (родины), все лазутчики и шпионы, все грабители, все бандиты, перебежчики, дезертиры, укрыватели, все расхитители собственности, все саботажники, и иже с ними, и несть им числа.

Все поднимались. И шли.

Гонимые... И каратели их.

Все, все каратели. Как ни посмотри.

Что с той, что с другой стороны.

И все, и с той, и с другой стороны, все — жертвы.

Как ни крути...

Господи! За кого же молиться?!

Кого клясть? Кого в ад отправлять? Кого в рай! Как же тут распорядиться...

Шли...

Красные и белые: —

ученые, в пенсне на ниточках, бородки клинышком, задохшиеся при повешениях; поэты, как свечи угасшие, задутые, по Соловкам и Гулагам, синие и распухшие, концлагерные, чахоточные, изводящиеся кашлем и кровью; священники в клобуках и рясах, расстрелянные, клеймённые — печатями христовыми — крестами в лоб, с крестами, вбитыми в горла, — свят, свят, иже еси на небеси; учителя, врачи — в поистёршихся дохах, с муфтами на руках, забытые прикладами, со сплюснутыми почему-то (будто плющились от того же ужаса) пулями, застывшими во ртах и глазах, как если бы граждане ели пули и глазами втягивали их; чиновники и служилые, при сюртуках и пуговицах, эти — с глазами, вылезшими наружу — теми же пуговицами; рабочие (заводские, железнодорожные, портовые), крестьяне (единоличники, с деревень и заимок, нищие и позажиточней) — в блузах и косоворотках, рядами — болванок и заготовок, снопами поваленные, посечённые и обмолоченные; казаки (при красных лампадах, в фуражках с околышами, зарубленные, заколотые, исполосованные — нагайками и шомполами); хуторские — мироеды (спаленные, обобранные, вывезенные по Сибири, брошенные — на съедение комарам и зверям); дворяне и помещики, заводчики и фабриканты, купцы (в собольих и енотовых шубах, пойманные и отловленные, как насекомые, разорванные и раздавленные сапогами, с распущенными животами, с развороченными брюхами); студенты и гимназисты (умученные); и: —

барышни, барышни, крали, буржуазные, актриски и библиотечарши, учительки, медсёстры, санитарки, в белых форменных платьицах и передниках с красными крестами, с ресницами, которые, как у кукол открывались, будто опахала, так и взлетали, будто бы бабочки, ток успевали взмахивать ими, — разутые, раздетые, берёзовые, белые, сладкие, забрызганные революционным соком, подхваченные революционным пламенем, ужаленные огненным семенем, брюхатые, сладостно плача (благодарные), вздрагивая от ужаса, убитые и раздутые;

солдаты и матросы — угрюмые, «святые», «купаюсь в крови», кто в чём одетые, расхристанные, в нательниках, в кожанках, в тулупках, в ватниках, перевязанные лентами, пулемётными, с бантами красными на груди, с винтовочками, с наганами за поясами, маузерами и револьверами, маузерами пристреленные, да теми же винтовочками (по приговорам ревтрибуналов);

офицеры-золотопогонники, унтеры и ротмистры, штабс-капитаны, мичманы и лейтенанты, генералы и адмиралы (в парадном, надушенные и наодеколоненные) — повешенные, с высунутыми языками; —

лезли, вспучивались, выскакивали из под земли.

Верно, занесло подземными течениями и толчками.

Вставали из ям, сваленные там штабелями (шевелиющимися), из рвов над оврагами, куда они падали, скошенные гуляющими очередями; поднимались расстрелянные, из под откосов речушек и речек; из лесов, травленные газами; выползали из топей, загнанные в болота; вставали из под волжских утёсов, днепровских круч; всплывали, умытые кровью, из вод тихого Дона; вспухали над водами Черного моря; брели от черных скал Кара-Дага, от жёлтых песков Азовского, с полынных и чёрных мелей Каспийского моря.

Спешили, бросаясь с палуб расстрельных барж (салют Балтийскому флоту!). Входили (потопленные) обратно, назад, плавучими тюрьмами. «Со святыми упокой... раб

Твоих...» — крымских, евпаторийских, керченских, феодосийских. Выскакивали из трюмов. Взивались с дымом из топок (Астраханских пароходов, через трубы). Носились над городскими котельными — дымом. Взлетали из чревов боевых погребов (Балаклавских и Севастопольских, из дредноутов и миноносцев). Выгоревшие изнутри, обгоревшие снаружи, выносились на полному ходу, в саже и в копоти, из паровозных топок. И становились в строй.

Сброшенные за борт и в воду из воды же показывались, скидывали с ног колосники, забитые шлаками, сдергивали с шей — камни (случалось, жернова), тянущие книзу, развязывали верёвки и распутывали лабиринты из колючей проволоки (нео-христиано-большевицские тернии), которыми были стянуты и опутаны и как бы вздёрнуты (головами за спины) — попарно и даже рядами; выковыривали из плоти пули, заживляли чёрной живую водою смертные раны... Христосе, воскреси!..

Сбрасывались, повешенные, с распятий. Соскакивали, распятые, с телеграфных столбов. С горящих (для освещения трупов) уличных фонарей. Съезжали с императорских памятников, такими натурными статуями, гирляндами, в парадной форме, непременно, как были повешены, чтоб золотыми погонами к зрителю и прохожему, для назидания и наставления... Упокой, Господи... Севастопольских и Симферопольских...

Раскачиваясь на ветру, срывались золотопогонники с плакучих ялтинских кедров и с воронцовских платанов. Прибитые к мохнатым в паутине стволам ливадийских пальм рифлеными гвоздями и ж/д костылями расшатывали их и кидались наземь... Прибывая на площадь, вставляли в очередь, в свой черед, в строй, в расчёты парадные.

Поднимались с путей, уложенные на шпалах — шпалами (да костылями, высохшими, чёрными, скрюченными), от Москвы и до Воронежа уложенные, и ещё на три, на все четыре стороны; взбрасывались с перронов, расстрелянные очередями; с портовых молотов; вспучивались из песков; вырубались

из льдов (Финского залива, Днестровских торосов); шли, присыпанные и запорошенные снегом, завьюженные, замороженные, цветами засыпанные (тоже, заодно срубленными и павшими на них) — лилиями, калами, белоснежными, терниями из бегоний и роз; всходили по садам и паркам цветущими такими кустами, вставали при дорожках, на спусках, под валами, где их расстреливали и рубили, такими античными же посеченными статуями, увенчанными тёрном, рубленными, как капуста; цвели ранами, стоязыкими, такими цветами; просыпались под «солнцем мёртвых»; тянулись, всходили, спешили, по одиночке, парами, тройками и колоннами; шли, извиваясь, таким вот диким (через всю страну), спутанным, давленным виноградом, хмелем и тёрном; ползли, струились, катились, летели кусками, срастаясь в воздухе, оформляясь в тулова, и вступали (соскакивая, высаживаясь, являясь невесть откуда и с чего) на площадь, становились в ряды — идти по брусчатке; из Летнего и Александровского Сада (Санкт-Петербурга), Петровского парка (Москвы), Царского Сада (Киева), Императорского Таврического казённого ботанического Сада (Крымского) шли — Господи! — с перстами, как умирали и как находили их, сложенными для креста — от бесноватых; со снятыми с голов черепами (с помощью верёвки и винта); с поднятыми перед собой руками для защиты (кожа ж чулками стянута, под ногтями граммофонные иглы); с гвоздями, забитыми в погоны, с засунутыми во рты отрубленными языками — «билетами красными» — такими алыми бантами — для проходу в ад, красный, — «господа, пожалуйте!» Господи, помилуй!

Порубленные — срашивались (прямо на площади).

Раскиданные кусками — кусками же, которые прыгали, начинали сходиться, и, самоподогнавшись в соответствующем тулову порядке, начинали (к ужасу Венечкиному) сокращаться, — кровь, взошедшая из земли, вскипая, с фырканием, шипя и пузырясь, кидалась назад в жилы и вены, кишки влезали обратно, в чрева, — мёртвые, приходя в

себя, начинали осматриваться и немедленно
даже становиться в колонны.

Запечённые, обуглившиеся, не сгоревшие
дотла, сбрасывали с себя корочки, делаясь
рыжими и румянными, и для чего-то (должно
быть, от праздничной суеты и привычки,
что-то путая) посыпали главы себе кроше-
вом, даже помазывали их яичком, будто сма-
зывали раны, глаза ж стояли бусинками, пу-
говицами, как изюминки в печи — сверкали
мёртвые, как куличики... на пасху. — Христос
воскреси! — И будто на пасху, светясь, ста-
новились запечённые в строй. Верно, чтобы
быть побрызганными святою водой. Господи,
омой их Твоею росой! Омочи им губы
хотя бы уксусом. Хотя бы тем, который рим-
ский легионер подносил к Твоим губам на
копье с губкой, употребляемой обычно для
подтирания после дефекации. Только не-
много. Чтоб не опились. Спаси и помилуй
их, Господи! Что тебе стоит...

Сгоревшие ж дотла, вышедшие из труб с
дымом, — дымом же сгустившись и закру-
тившись в столбы, — так и шли, шли по
площади таким революционным смерчем,
таким коммунистическим вихрем, таким
поднебесным маршем.

Забитые в погребях, в городских подвалах
и на скотобойнях (молотом в лоб), подве-
шенные за ребра на контейнерные крючья
перед забоем, осмоленные паяльными лам-
пами до проступления сала (как свиньи),
ошпаренные и утёртые горячими полотен-
цами (для форсу и соответствия) перед раз-
делкой (с проставлением санитарных печатей
на шкурах — для форсу же), утопленные
головами в лоханях, в корытах и чанах (для
обмыва туш и спуска требухи), приравнен-

ные к скоту, вступая на площадь, распрямля-
лись, подымали головы, ибо вновь обрета-
ли человеческое достоинство, чувствовали
себя людьми...

Размозжённые на колодах — склеивались.

Распиленные — слипались, соединяясь
разъятыми половинами.

И прочая, прочая... «И многая многих, име-
на коих ты, Господи, еси». Несть им числа...

И тут Веня во всю силу своих лёгких, отве-
чая на здравицы диктора — (нашёлся таки,
приступил к обязанностям! А Веня всю
жизнь участвовал в демонстрациях и пара-
дах и очень любил здравицы), Веня, сколько
можно набравши в лёгкие воздуха, прокри-
чал:

— У-урр-я-а-а-а!

И ещё раз:

— Урра-а! Урра-а!

И площадь отозвалась тысячеголосо и сто-
пудово:

— Ррррряа! Ррряа!

И диктор сказал:

— Да здравствуют мёртвые!

— Ззддрраствуют... ззддрраствуют... здра-
стую... — отозвалось в толпе демонстран-
тов.

— Да здравствуют все умученные и рас-
стрелянные!

— Всееее! Всссе! Всееееее!

— Все потопленные! Все повешенные!

— Всееее! Всссе! Всееееее!

— Слава нашей монументальной партии!
Правительству монументов слава!

— Слааааа! Слааааа! Слаааааааа!

— Да здравствуют сумасшедшие! Аве без-
умцам! Урра!

— Ррррряа! Ррряа! Рррряаяя!